

Лев Николаевич Летягин

кандидат философских наук, доцент кафедры эстетики и этики Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена

и

Марина Валентиновна Михайлова

кандидат философских наук, доцент кафедры искусствознания Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения

в авторской программе «Словарь»
на радиостанции «Град Петров»
17 мая 2006 года

СУША

М. Михайлова: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. С вами радио «Град Петров», программа «Словарь», ее ведущая Марина Михайлова, и сегодня я с большим удовольствием представляю вам Льва Николаевича Летягина, кандидата филологических наук, человека, который знает много о земле. Мы с вами сегодня находимся в третьем дне творения. Если вы помните, в прошлый раз мы речь вели о том, что такое «два». Уже два дня прошло перед нашими умственными очами. И наступил третий день, и сказал Бог: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею». Вот про эту самую землю-сушу, как она есть в нашем опыте культурном и персональном, мне и хотелось бы сегодня поговорить. Как Вам эта тема?

Л. Летягин: Прежде всего, это не случайно третий день творения. Это символическое число, в котором человек находит свое определение. Это, прежде всего, его ориентированность по вертикали, и именно поэтому земля — то, в чем человек обретает символ своей духовной оседлости. Вот почему в разных культурных традициях такими разными оказываются образы земли, и православная традиция предлагает нам увидеть человека в его космическом измерении именно тогда, когда он находит точку опоры.

М. Михайлова: То есть земля — это основание под нашими ногами, это твердая опора, прежде всего?

Л. Летягин: В этом случае мы скорее сталкиваемся не с самим образом земли, но с его возможными метафорическими проекциями.

М. Михайлова: Мы имеем право посмотреть и на метафоры тоже, потому как что есть еще в культуре, кроме метафор, хотела бы я спросить?

Л. Летягин: В этом плане национальная точка зрения всегда оказывается незаземленной — то, что Дмитрий Сергеевич Лихачев когда-то назвал «панорамным видением». Вот то, что прочитывается в русском летописании, когда Нестор, воспарив над российской землей, увидел все ее возможные пределы. Взгляд с горней точки или взгляд с высоты птичьего полета обозначает ту самую вертикальность мышления при всей панорамности, казалось бы, бесконечных русских земель.

М. Михайлова: Я бы еще добавила, что этот взгляд с невероятной высоты, с высоты птичьего полета, свойственен русской поэзии. Ведь не только в летописных традициях, средневековых и древних, это есть, но и у всех русских поэтов. Достаточно открыть — я сегодня взяла первые книжки, которые пришлось под руку, — достаточно открыть Мандельштама, и мы читаем, например, стихотворение «Европа»:

Как средиземный краб или звезда морская,
Был выброшен водой последний материк,
К широкой Азии, к Америке привык, —
Слабеет океан, Европу омывая.

Изрезаны ее живые берега,
И полуостровов воздушны изваянья,
Немного женственны заливы очертанья:
Бискайи, Генуи ленивая дуга...

Завоевателей исконная земля —
Европа в рубище Священного союза:
Пята Испании, Италии Медуза
И Польша нежная, где нету короля...

Вот он смотрит на Европу с высоты действительно полета даже не птичьего, а ангельского и видит ее как некое нежное целое. Вот она плывет: «Изрезаны ее живые берега, / / И полуостровов воздушны изваянья». Взгляду человека

любящего и одаренного духовным видением суша может предстать как некое живое и сложное целое.

Л. Летьгин: Мне кажется, этот горный взгляд дает нам возможность увидеть взаимодействие на уровне культурного диалога. Все-таки Россия, действительно, оказывается приемницей не только Византии, но и Древнего Рима. Град Петров в этом плане заявляет фундаментальные, мне кажется, позиции нашего национального мышления. Здесь могут быть претензии буквального понимания Москвы как Третьего Рима и Петербурга как части Московии, но все-таки не случайно, что Андрей, который и для России стал Первозванным, был родным братом апостола Петра.

М. Михайлова: Да. И апостолы тоже проходят земли...

Л. Летьгин: Как вестники...

М. Михайлова: ...Как вестники, и сказано: «Да будет проповедано Евангелие во всех концах земли». Так что освоение суши совершается в христианстве во второй раз. В первый раз это произошло, когда был сотворен человек, а во второй раз, когда творится некий новый мир, и его границы, по-видимому, должны совпадать с границами той самой суши, твердой обитаемой земли, которая не море и на которой мы все живем и считаем ее своим домом. Все-таки земля как стихия, в отличие от воздуха, от воды, — это радостная и крепкая обиденность. Хорошо человеку в воздухе, хорошо ему в воде, но жить там невозможно, а на земле можно долго сидеть, спать можно на земле, можно лежать и читать книжку.

Л. Летьгин: Как раз на земле мы находим точку опоры. Я хотел бы еще раз вернуться к образу духовной оседлости. Какое пространство мы считаем своим? В этом плане, мне кажется, именно земля имеет большую степень постоянства памяти, чем вода или воздух, не в меру зыбкости иных стихий, а в меру того, что действительно есть память места, есть феноменология намоленного пространства. Вот почему, вступая на чужой след, я обретаю свою культурность. Я всегда оказываюсь на полях чужого черновика.

М. Михайлова: Значит, земля для нас — это еще и...

Л. Летьгин: Подстрочник...

М. Михайлова: ...И книга, которую мы читаем и перечитываем, палимпсест, где все вписывают свое...

Л. Летьгин: Причем вписывают именно на равных, с этой ахматовской формулировкой:

А так как мне бумаги не хватило,

Я на твоём пишу черновике.

М. Михайлова: Скажите мне, пожалуйста, как Вы относитесь к тому, что земля является объектом преобразования? Когда, скажем, в советские времена было модно менять русла рек, устраивать искусственные моря, то мы это воспринимали как нечто все-таки чудовищное. Это как-то очень неловко и страшно. Скажем, сибирская деревня, из которой происходила моя бабушка, погибла под одним из таких искусственных советских водохранилищ. С другой стороны, земля — это то, что нам Господь дает для возделывания, для постоянного культивирования, изменения. Я знаю, что Вы занимаетесь русской усадьбой, и в связи с этим вопрос: что может человек сделать с землей? И что он делал с ней? Что призван делать? Какие отношения между человеком и этой самой точкой опоры?

Л. Летьгин: Если вернуться к первому аспекту заявленной вами проблемы...

М. Михайлова: Вернемся.

Л. Летьгин: ...Действительно, советская гордыня исходила из того, что мир нужно преобразовать, при этом мы забывали о том, что мир красив, ибо создан. Важно помнить о факте первого творения и о первозданности в этой стройности картины мира, которая открывается всякому человеку, и в этом плане homo aestheticus, человек чувствующий, конечно, начинается раньше чем homo sapiens. Вот почему для сегодняшних археологов одна из ключевых позиций поиска интересного археологического места определяется эстетическими параметрами. Если это место красивое, то оно должно было быть населено ранее и там есть та самая культурная память. Культурные пути смещаются, но остаются визуальные точки и сохраняется ощущение былого человеческого присутствия, к которому ты в любом случае сопричастен, то, что когда-то Владимир Николаевич Топоров, один из самых серьезных, быть может, культурологов советского периода, назвал культурным урочищем. Культурное урочище — это всегда иное пространство, которое предлагает нам свои фор-

мулы присутствия. Мы зависимы от тех позиций, которые предложены нам *genius loci*, памятью места.

М. Михайлова: Я вспоминаю, как приехали мы однажды с детьми в Михайловское. Мы посещаем усадьбу, и мы полны, конечно, священного трепета, поскольку Пушкин — наше все. И тут нам говорят, что дом сгорел тогда-то, вот эта вещь по типологии, эта оттуда, это отсюда... Получается, что ничего нету, елки-палки, куда ж приехали! И тогда мы посмотрели в окно и поняли, что мы приехали посмотреть вот на эту землю. Да, действительно, дом может сгореть, вещь может потеряться, но эта излучина реки, этот высокий берег, эти равнины, которые открываются взгляду, — это та подлинность, которой никто не отнимет. Хотя знающие люди говорят, что ландшафт тоже меняется, но все-таки гораздо медленнее, чем мир хрупких бедных маленьких вещей. Получается, что если мы хотим соприкоснуться с неким культурным объектом — нет, так нельзя говорить о Пушкине, — почувствовать, как жил Пушкин, то нам надо пройти по той земле, по которой он шел, и увидеть тот ландшафт, на котором останавливался его взгляд.

Л. Летьгин: Мне кажется, представление о вещи как о некоей хрупкой субстанции памяти возможно только на уровне бытовых отношений. Именно вещи противостоят силе вещей. Именно поэтому через прикосновение, через некую шероховатость, которую мы обнаруживаем, допустим, столетие спустя, мы все-таки ощущаем подлинность. Если мы рассматриваем с вами заповедное для нас пространство Михайловского, самое подлинное там для нас — конечно же, ландшафт, с той метафизикой ландшафта, которая будет существовать, наверное, еще достаточно долго. Меняется экспозиция, изменяется туристический поток. Может быть, самое главное в этом пространстве — это сопряжение: я понимаю, что я прохожу те же самые расстояния, версты, и в этом плане мы с Пушкиным оказываемся сверстниками, мы проходим равное количество шагов, и вот эти самые подлинные моменты прикосновения, наверное, и есть обретение идентичности. Это мы с вами говорим о нашей национальной точке зрения на окружающий нас ландшафт.

М. Михайлова: Да, вот она, земля, прошли мы по ней те же версты и сделали сверстниками, как вы сказали.

Л. Летьгин: Это филология.

М. Михайлова: Это филология, но, видите ли, для этого нужно быть не только филологом, но и философом, чтобы взять слово, повернуть его — и оно откроет в себе какую-то дополнительную красоту.

Л. Летьгин: Борис и Глеб не были одногодками, но поскольку судьбы равной степени трагичности, они и сверстники, ибо участь одна, частность общего целого.

М. Михайлова: Давайте поговорим об усадьбах. Что это за форма соединения человека с землей? Как живет род, семья в пределах усадьбы? Что происходит с людьми и с этим участком суши?

Л. Летьгин: Вспоминая Михайловское как заповедное пространство, хотелось бы в один ряд поставить такие понятия, как отповедь, исповедь, заповедь. В равной степени эти понятия оказываются укорененными, и не случайно, что слово «усадьба» мы воспринимаем сегодня во многом ностальгически, а в обиходе опять же чаще всего вспоминаем о нем как о некоей метафоре. Сегодняшние дачные владения не соответствуют тому типу духовной оседлости, которым владела русская культурная традиция еще в XIX столетии, в его середине. И в этом плане слово «усадьба», конечно, и есть отражение той самой идентичности, потому что усадьба — это место, где человек усаживается, находя свое место.

М. Михайлова: Мне казалось, что это «у сада». Сад должен быть в усадьбе, вишневый сад, тот самый, который потеряли мы.

Л. Летьгин: Вся Россия — вишневый сад, и вместе с тем все-таки не случайно, что это имение.

М. Михайлова: Да, где можно сесть и сидеть веками. Так хотелось бы.

Л. Летьгин: Традиции русского владельческого права действительно предполагали ориентацию на память места и память рода, которые в этом плане оказывались неразрывны. Замечательную цитату я нахожу у Антона Дельвига:

Признайтесь, что блажен поэт
В своем родительском владенье!
Хоть на ландкарте не найдет
Под градусами в протяженьи
Там свой овин, здесь огород,

В ряду с Афинами иль Спартой;
Зато никто их не возьмет
Счастливо выдернутой картой.

Вот попытка посмотреть на усадебную культуру с той самой высокой точки горного полета, и характерно, что в одной картине мира могут совмещаться самые разные проекции образа земли. Вот почти параллельно с текстом Антона Дельвига появляется очень характерный взгляд на землю русского крестьянина. В одном из сборников анекдотов начала XIX века мне попался такой красивый пассаж: «Один человек рассматривал географическую карту России. Слуга его с любопытством спросил: “Что это такое, сударь?” Господин сказал: “Это такой лист, на котором можно найти все города, реки и даже деревни”. Удивленный слуга попросил сыскать родину его, деревню Погорелки. “Вот она”, — указал пальцем господин и указал имена еще нескольких близлежащих деревень. Слуга, услышав название Жихарево, сказал: “Позвольте вас попросить, сударь, не можете ли вы увидеть, жив ли еще в Жихареве мой свояк Кузьма Терентьев”». При всей наивности подобной точки зрения это опять же попытка увидеть землю в горнем прочтении.

М. Михайлова: Да-да, именно с высоты полета ангельского, потому что земля постоянно граничит с воздухом, она раскрывается как горизонт, и человек — тоже горизонт между Богом и живой природой.

Л. Летагин: Поэтому наше восприятие земли, конечно же, эстетическое по определению. Вот хрестоматийная, казалось бы, пушкинская цитата:

И внял я неба содроганье,
И горный ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

«Прозябанье», как ни странно, сегодняшними студентами-филологами может восприниматься как, собственно говоря, безделье, без ощущения зыбкости, зябкости, динамического прорастания того, что не слышимо, но чувствуемо.

М. Михайлова: Сейчас многие слова, к сожалению, уже потеряли свое звучание, которое имели в пушкинское время.

Когда Пушкин это пишет, то все понимают, что прозябание — это произрастание, но сейчас кто бы это мог вспомнить так запросто?

Л. Летагин: Таким образом, мы снова обращаемся к проблеме нашей идентичности.

М. Михайлова: Так и получается, что земля все время обязывает нас к тому, чтобы соответствовать предкам нашим, которые в эту землю ложатся.

Л. Летагин: Хорошее слово «соответствие», потому что оно предполагает ответность и одновременно ответственность за то, чем мы владеем. Собственно говоря, когда мы рассматриваем формы наследственного владения, то наследники должны быть прежде всего людьми, которые понимают, чем они владеют. Вот почему всякое наследие, всякое достояние существует только в том случае, если оно адекватно воспринимается преемниками.

М. Михайлова: Опять же усадьба есть некий мир, который внесловесно хранит в себе эту культурную память. Даже тот же самый пейзаж уже указывает на то, что в нем есть взгляд. Он сохраняет взгляд, которым на него смотрели отцы, деды. Мы все время возвращаемся к Пушкину, что, наверное, не удивительно, поскольку кто еще сказал об этой земле так, как он. Пушкин говорит в своем незавершенном стихотворении:

Два чувства равно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

И то, и другое — в усадьбе, потому что, сколько я понимаю, была традиция, когда человек на фамильном кладбище возле церкви усадебной и находил свой покой.

Л. Летагин: Так завершается круг биографии, что, конечно же, логично. Именно в этом случае лишней раз можно задуматься над тем, что человек равен некоему определенному пространству. Я думаю, для каждого из нас, наверное, это один самых главных биографических вопросов: какому пространству каждый из нас равен? Когда-то Юрий Николаевич Тынянов ввел такое хорошее понятие: есть «диаметр сознания». Конечно, он задается пространственными критериями: в каком мире я живу? Какой мир равен мне?

М. Михайлова: Я боюсь, что для современного человека это проблема — охватить даже взором эту самую сушу. Вот о чем я думаю. Мои дети, например, источник вдохновения бесконечного, говорят: «Давай когда-нибудь сходим пешком от городской квартиры до дачи». Тогда 80 километров, которые мы проезжаем на машине, на электричке, просто не замечая их, превратятся в те самые версты, которые нужно пройти своими ножками, совершить определенное количество шагов. Только в этом случае мы понимаем протяженность земли, невероятную тяжесть этого пространства, наше скромное место, которое мы занимаем на ней. Ведь высокомерие современного человека и его какая-то безалаберность по отношению к мирозданию, мне кажется, во многом спровоцированы легкостью перемещения. Мы не понимаем, как мы малы и хрупки в этом мире, грандиозном и прекрасном. Нам кажется, что все так просто: сел в одну капсулу, перелетел, там вошел в другую. Нет, это не так. И любое пространство, которое является, скажем, культурно-отмеченным, заставляет человека совершить эти необходимые шаги. Мы не можем впереться, извините, на своем автомобиле в Михайловское. Мы должны все-таки пойти и совершить какое-то усилие телесное. Мне кажется, соотношение человека с землей совершается именно через телесные практики. Неважно, что мы делаем: ходим по ней ногами, копаем ее лопатой, ручками эти комья разгребаем, мы можем лежать на этой земле, на снегу или, наоборот, на теплой траве, но мы должны с ней как-то соприкоснуться очень конкретно, телесно.

Л. Летьгин: Как есть легкость понимания, которая всегда по большому счету оказывается ложью, так есть и сомнительность легкого достижения. Все-таки достижение не случайно оборачивается постижением. До истины нужно идти, и в этом плане в нашем национальном самосознании так значимы пространственные метафоры. Мы всегда достигаем некоего рубежа, некой цели, и поэтому мы либо вступаем, либо переступаем через заповедное пограничное пространство.

М. Михайлова: Пространство для нас является уже не метафорой, а некоей реальностью нравственной и метафизической, да?

Л. Летьгин: Скорее всего это духовная реальность, то есть та реальность, которая заставляет нас быть подвижными, а не просто двигаться.

М. Михайлова: Можно, я еще прочту стихотворение? Я припасла Бродского, тоже любимый поэт. Хотя сам он, как известно, не сентиментальничал по поводу своего изгнания, но, тем не менее, страдал. Вот его пронзительное стихотворение, которое он читал когда-то по «Голосу Америки», и мы его слышали. Это было удивительно, потому что ведь тогда этот разрыв был непреодолим. Это было еще в те годы, когда — мы помним это — люди уезжали, и с ними прощались, как на похоронах практически.

Л. Летьгин: Они уходили в другую реальность.

М. Михайлова: Они уходили в другой, параллельный мир, в какую-то тундру верхнюю, и вот он говорит оттуда:

Ниоткуда с любовью, надцатого марта,
дорогой, уважаемый, милая, но не важно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне —
как не сказано ниже по крайней мере —
я взбиваю подушку мычащим «ты»
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя.

С одного континента на другой можно метнуть это слово, эту бутылку бросить в море, и совершенно очевидно, что в поэтике Бродского суша — это дом, море — это всегда некая преграда: «за морями, которым конца и края»...

Л. Летьгин: Поэтому так важно возвращаться в дом, то есть в то место, которое нам равно по существу нашей души. Не случайно так важны паломнические устремления. Они всегда ведут нас к тому, где мы находим иной мир своей оседлости. Вот почему надо исходить землю, вот почему прав-

доисследовательство на Руси всегда имело пространственные критерии.

М. Михайлова: Странник должен быть.

Л. Летьгин: Образ странника, ходока, паломника, пилигрима... Это, что ведет и всегда предполагает возвращение. Ты возвращаешься с вестью об ином пространстве, которое действительно делает твой мир устроенным, покойным и зависимым не от дольных интересов.

М. Михайлова: Я думаю, что это свойственно не только русскому сознанию, но всегда люди понимали, что паломничество есть некий важнейший духовный подвиг. Отсюда и вопрос: что такое подвиг? Когда человек подвинул себя по этой самой суше, совершил какие-то шаги.

Л. Летьгин: В этом есть, собственно говоря, ощущение подвижничества: ты двигаешься не только сам, ты увлекаешь. Наверное именно поэтому пространство является некоей преемщицей национального сознания.

М. Михайлова: Да, и не случайно мы говорим про «родную землю». Кто скажет «родное море»? Я не знаю, только, может, моряк какой-нибудь, совсем уже обезумевший в своих морских походах. А вот родная земля — да, мы все понимаем, что это. У Бродского чудесное стихотворение, где он говорит про Уранию:

Оттого-то Урания старше Клио.
Днем, и при свете слепых коптилок,
видишь: она ничего не скрывает,
и, глядя на глобус, глядишь в затылок.
Вон они, те леса, где полно черники,
реки, где ловят рукой белугу,
либо город, в чьей телефонной книге
ты уже не числишься. Дальше, к югу,
то есть к юго-востоку, коричневеют горы,
бродят в осоке лошади-пржевали;
лица желтеют. А дальше плывут линкоры,
и простор голубеет, как белье с кружевами.

Вот взгляд Урании. Бродский говорит, Урания старше Клио: прежде чем мы начинаем исторически во времени складывать свою судьбу, мы уже получаем это необъятное место, пространство, и Урания, муза астрономии, позволяет увидеть землю как чудесное, великое и домашнее все-таки пространство.

Л. Летьгин: Если восстанавливать систему родственных отношений муз, то, конечно, нельзя забывать про музу памяти, про Мнемозину. Не случайно память — мать всех муз, потому что музы подвижны единственными для них путями, сойти с этого пути — потерять себя. Вот почему пространство всегда оказывается метафорой времени. Не случайно мы так часто в обиходе измеряем время пространством и пространство — временем: «Я живу в пяти минутах ходьбы».

М. Михайлова: Да, или мы говорим: «Сколько прошло времени». Что значит — прошло? Оно промерило какой-то путь пространственный, расстояние.

Л. Летьгин: Уникальное соединение самых разных проекций пространства и времени предлагает, конечно же, город, и такой город, как град Петров, в этом плане оказывается городом вне времени, хотя, казалось бы, его история достаточно коротка: триста лет в мировом масштабе — это мало.

М. Михайлова: Но у нас климат суровый, северный. У нас год за два, за три можно считать.

Л. Летьгин: Нет, я думаю, здесь скорей всего иной образ, который изначально мыслился создателем этого града. Если Невский проспект как перспектива связывает Адмиралтейство и Александро-Невскую Лавру, то, конечно же, это не расстояние в несколько верст, это расстояние в несколько веков. Петру Великому важно связать точку утверждения России, 1704 год, с памятью этого места, 1242 годом.

М. Михайлова: Да, с XIII веком.

Л. Летьгин: Поэтому прах великого русского полководца и святого Александра Невского оказывается упокоен все-таки здесь. Таким образом, это проспект, проложенный не в пространстве, но во времени. Это перспективность рационального XVIII столетия, но при этом город уникален своими временными измерениями. С одной стороны, Петербург оказывается цитатником мировых столиц, и, казалось бы, так узнаваемы архитектурные ансамбли с поправкой на их определенную вторичность, но вот удивительная вещь: когда Петербург собрал образы мира, он стал неповторимым городом, и в этом, наверное, его единственная судьба, его уникальность и, собственно говоря, его перспективность.

М. Михайлова: Перспективность? Город, как ни странно, при том, что он музей, памятник и так далее, все равно подвержен историческим изменениям больше, чем вот то самое дикое поле, горы и равнины, холмы. Даже мы, казалось бы, не живем пока еще сто лет, но мы помним совсем другой город. Мы помним Ленинград, каким он был, мы можем теперь говорить своим друзьям, которые приезжают: «А здесь раньше было то-то». Я недавно проходила по Театральной площади и подумала: «Надо же, синагогу видно», а потом я поняла, почему ее видно: потому что уничтожено здание огромное, и даже не одно, насколько я понимаю. Город хранит в себе культурную память, и, тем не менее, он подвержен перестроениям всяческим гораздо больше. Мне кажется, что если мы хотим обрести идентичность национальную, культурную со своими предками, то тогда перспективнее свернуть с Невского проспекта и отправиться куда-нибудь в псковскую деревню. Потому что уж там-то как было, так и есть.

Л. Летьгин: Мы не будем пока возвращаться в русскую усадьбу. Думаю, что для града Петрова как раз важнее идея града, а не города, потому что идея града неуютна для обывателя. В граде жить неуютно потому, что это пространство необжитое, идеальное. Конечно же, Петр Великий строит идеальный город. Вот почему этот город изначально обозначает идеологию разметки, и только потом фасадность подтягивается к тем исторически забитым клинышкам, которые обозначают масштаб исторического видения этого места в его перспективе.

М. Михайлова: Не случайно град — это один из символов последней книги Священного Писания. Для меня в этом есть логика: человеки первые покинули сад Эдемский для того, чтобы потом оказаться в этом граде, где нет ни солнца, ни луны, потому что сам Господь там светит. Оказывается, что человек проделывает некий путь. Он совершает путешествие из сада в город. Хотя город этот удивительный, там есть и деревья на берегу огромной и прекрасной реки, и много садово-паркового искусства. Тем не менее, это важный шаг: когда-то человек был младенцем и жил в том пространстве, которое получил просто как дар. Как плод с дерева, действительно, тот сад свалился к нему в руки. Но потом он

окажется в городе, а город — это и есть, как мне кажется, сопряжение усилий человеческих и Божественных.

Л. Летьгин: Познание добра и зла — это и есть путь. Собственно говоря, вернуться в рай, обрести путь к своему идеальному истоку — задача заверченного биографического целого. Наверное, не случайно такое особое положение в нашей национальной культуре занимает усадьба. Там всегда обретаешь покой, и не случайно, что усадебные дома строились буквой «П», как она называлась в русской азбуке, «покоем», в отличие от городской усадьбы, которая строилась «глаголем», то есть как открытое коммуникативное пространство. Именно поэтому усадебный мир все-таки оказывается миром, замкнутым на себя. Это мир во многом самодостаточный. Конечно, мы во многом уже потеряли ощущение масштаба усадебной культуры, этого чувства земли в ее отзывчивости и одновременно в твоих правах, ты не бесправен по отношению к земле. Возможность обретения себя в некоем конкретном пространстве родового владения — собственно говоря, это и есть фамильная память.

М. Михайлова: Идеальная усадьба — это, наверное, все-таки не Михайловское, а Обломовка благословенная. Интересно, что в XIX веке литературная критика прочитывает роман как некую инвективу в адрес главного героя, а в XX, когда мы уже насуетились выше крыши, начинаются ностальгические прочтения романа гончаровского.

Л. Летьгин: Я думаю, что Гончаров нашел исконный архетип нашего национального мышления. Не случайно, что возраст Ильи Ильича совпадает с возрастом Ильи Муромца, тот тоже тридцать три года лежал на печи.

М. Михайлова: Да, и Ильи Ильич продолжил это сладостное состояние, к сожалению. Попытался встать, но не получилось.

Л. Летьгин: Тем не менее, образ Обломовки, конечно же, оказывается идеальным образом только потому, что усадебная культура самодостаточна. Мы во многом просто потеряли ощущение масштабности этой культуры. Это прочитывается сегодня хотя бы через протяженность аллей заброшенных парков. Когда это протяженность в полторы версты, то ты понимаешь, какому масштабу были равны твои предшественники, какой масштаб для них был адекватным.

М. Михайлова: Да. Мой сын вчера ходил в лес за грибами и с ужасом мне рассказывал: «Представляешь, мы жгли костер на бывшей аллее, и до сих пор видно, что это аллея, но теперь уже там все уничтожено, никакого даже фундамента не осталось, все пропало». Это за Петергофом, дальше, там много таких усадеб, которые были прекрасны когда-то, а сейчас их можно только угадать.

Л. Летагин: Наверное, именно поэтому следует подумывать лишний раз над тем, что пути не должны зарастать.

М. Михайлова: Да, и призвать еще раз к духовному путешествию. Я хочу открыть еще одну книгу, которую принесла. Мы очень часто говорим, что город — это каменные джунгли, дичает жизнь, и человек не может выйти на улицу и ощутить себя среди людей, а оказывается действительно в каком-то лесном пространстве почти. Замечательный русский поэт Осип Мандельштам, напротив, переживает дикую природу как град, как собор, потому что для христианского сознания все мироздание есть жилище Божие. Позволим себе еще одно стихотворение:

В хрустальном омуте какая крутизна!
За нас сиенские предстательствуют горы,
И сумасшедших скал колючие соборы
Повисли в воздухе, где шерсть и тишина.

С висячей лестницы пророков и царей
Спускается орган, Святого Духа крепость,
Овчарок бодрый лай и добрая свирепость,
Овчины пастухов и посохи судей.

Вот неподвижная земля, и вместе с ней
Я христианства пью холодный горный воздух,
Крутое «Верую» и псалмопевца роздых,
Ключи и рубища апостольских церквей.

Какая линия могла бы передать
Хрусталь высоких нот в эфире укрепленном,
И с христианских гор в пространстве изумленном,
Как Палестины песнь, нисходит благодать.

Л. Летагин: Замечательные строки.

М. Михайлова: Вот оно — богослужение, которое совершается в храме природы. Вся суша есть подножие ног Божиих. Собственно, мы с этого начали, с того, что сотворил

Господь сушу, благословил ее Своим словом, дал ей имя. Тогда получается, что земля для нас — это всегда след Божий. Конечно, это след отцов и некое культурно обжитое пространство, то, что нам дано для хранения и для творчества дальнейшего, хочется надеяться. Но в то же время, как Вы замечательно сказали, не надо землю преобразовывать, потому что она уже создана прекрасной. Если бы мы это помнили, помнили о том, что вся красота, вся правда, вся благодать нам уже принадлежит, нам уже оставлено это наследство, невероятно драгоценное.

Л. Летагин: Пусть это будет заповедь, которую мы сможем передать тем, кто сохранит заповедность своей души.

М. Михайлова: Да самим бы для начала что-то сделать и достигнуть. Что ж, я хочу Вас поблагодарить, Лев Николаевич, за участие в нашей программе. Дорогие слушатели, хочу напомнить вам, что о земле-суше мы сегодня говорили с Львом Николаевичем Летагиным, кандидатом философских наук. До свидания.